

Евгений Бесчастный

Вечер поэзии

На любом литературном вечере присутствует секретный сотрудник спецслужб — это факт номер один. Факт номер два — на наш вечер, а именно: поэта Сидоренко, поэта Петрова и вашего покорного слуги, поэта Луначарского, никто не пришёл, кроме самих выступающих.

Итак, мы сидим, руки на груди скрестив, и хмуримся, исподлобья взираем друг на друга. Взираем и снова глаза опускаем. За окном валится с неба снежный песок. Темно. В зале пахнет старостью, плесневелым ковром, книгами, которые никто ни разу не открывал.

— Может, что-нибудь почитаем? — густо басит Сидоренко.

— А смысл? — разводит руками скептик Петров.

— Давайте подождём еще немного, — прошу я. — Всего сорок минут прошло от начала.

Мои собратья по перу с неприязнью косятся на меня и в унисон что-то бубнят, приводят какие-то возражения. Однако мы не читаем и ждём, ждём ещё. Я вызываю больше всего подозрений. Я знаю это. Я достиг наибольших высот в поэтической карьере: издал уже семь сборников, печатался в «Скрижалях», в «Вестнике Парнаса» и в «Едрёной буквице». Я лауреат нескольких премий, в том числе «Синяя звезда», «Золотая гусеница». И даже «Вопиющая рифма!» Знаю, знаю. Да. Получил я их, так уж вышло. Грешен. Но я не сотрудник спецслужб, клянусь. Значит, это либо Петров, либо Сидоренко. Один из двух. Тот из них, кто чист, конечно же, уверен, что стукач — я. Тот, кто чист. Тот, кто не чекист. Проклятая рифма!..

— А один из нас не чист, а один из нас чекист! — не выдерживаю я и сам смеюсь над собственной остротой.

Сидоренко помрачнел ещё больше, Петров натужно хмыкнул. Ханжи.

— Ну, наверно, уже нужно водку пить! — провозглашает Сидоренко и холёные свои руки потирает.

— Вот сразу бы так! — заулыбался Петров. — Ради этого и собрались ведь!

— Проскочив официальную часть, выступающие приступили к части неофициальной, — отрапортовал я и вытащил из рюкзака припасённую бутылку.

Мои друзья снова сверкнули глазами на меня, как автомобили фарами.

— Ох, Луначарский, страсть у тебя к протоколам да к рапортам, я смотрю, — в полушутку говорит Сидоренко.

— Ну, ребята, ну будет вам! — взмолился я.

Пока мы расстилаем какой-то лист на четырех сдвинутых табуретках (лист оказался прошлогодней стенгазетой Дворца литератора «Сияй звёздочка, сияй милая!»), пока нарезаем и открываем что бог послал, пока разливаем по пластиковым стаканчикам беленькую, обстановка как будто разряжается. Но тяжёлый камень был брошен в этот омут раз и навсегда. Один из нас, один из нас...

На самом деле, и Петров и Сидоренко оба заслуживают подозрения. Петров выделяется своей незаметностью: работает продавцом-консультантом в магазине обуви, женат, трое детей. Всё. Но вот это «всё» — самое надёжное прикрытие. Сидоренко — пухлый хипстер: завивает усики, подводит реснички. Борода напылена, штанишки заужены. Крамольничает. Он? Ну, до такого хитрого маскарада вряд ли бы там додумались. Хотя... Кто их знает? Но я?! Как они могут подозревать меня? Во-первых, у меня самые хорошие стихи! Где вы видели агента с поэтическим сердцем (а стихи я пишу сердцем). Ну, и достижения мои — неужели агент так нагло пользовался бы своим положением, чтобы обвешаться регалиями? Ведь это же в первую очередь подозрительно. Хотя, опять же, кто их знает...

Выпили, закусили. Потеплело в груди, а легче не стало. Вьюга за окном завывает. Сами собой поскрипывают половицы. Гудит и мигает лампа. Шмыгают мыши. Старый Дворец литератора так и ходит ходуном от зимнего ветра, от грохочущего мимо тяжёлого транспорта.

— Не пришли и не пришли! Главное, что мы есть, — говорю я. Но я не угадал мысли друзей: они смотрят на меня так, будто я заговорил по-турецки.

— Да причём тут?.. — хмелел Сидоренко. — Давайте уже почитаем, хоть сами себе.

— А поэтическая у тебя всё-таки фамилия, — сказал мне Петров, перемалывая зубами жёсткий бочок куска сервелата.

— Это почему же? — не понял я.

— Ну, как? Луна, чарка... Романтика! Ха-ха-ха!

— Так мы читаем или нет? — кипятился Сидоренко.

— Ну давай, давай! — сказал Петров и махнул рукой.

Сидоренко замялся, затужился, обнаруживая работу тягучей мысли. Наконец, глядя бороду, как лампу Аладдина, он приосанился и вступил:

— *Коверкотовое пальто,*

Шапка норковая и др.

Всё истлеет, всё станет — ничто,

И не моль суть причиной тех дыр.

И не моль всё источит, не моль

Обратит одеяния в прах.

Боль земная, земная соль...

— Ох, батюшки святы! Никак опоздала!

Громыхнув просевшей дверью, в зал ввалилась миниатюрная старушка очень похожая на английскую королеву Елизавету Вторую. Даже какая-то диадема сверкает в седых заснеженных волосах.

— Ох, перепутала, всё перепутала!.. Ох, старость не радость!

Мы замерли от удивления, только шпарты на вилках качаются, как маятники.

— Вы, бабуля, на поэтический вечер? — спросил Петров, первым опомнившись.

— А то как же, касатик! — говорит королева Елизавета, топая ножками, чтобы сбить с подошв снег. — Поэтический вечер. Сидоренко, Петров, Луначарский.

Мы переглянулись — она? Да быть такого не может! — и заголосили оживлённо кто в лес кто по дрова.

— Так это вы по адресу, бабушка. Это мы, — говорю я.

— Знаю, знаю, милые. Кто ж вас не знает. Вас весь город знает, — бабушка дотопала до нашего импровизированного стола и хитро смотрит, ридикюльчик в руках тербит.

— Садитесь, садитесь, — нашёлся Сидоренко и вскочил, уступив ей место, а себе принёс другой стул. С пустыми стульями в тот вечер проблем не было.

— Я, милые, всё знаю, и читаю вас, и очень люблю. Стихи у вас замечательные. У каждого — по-своему. А что мало ценят, так не расстраивайтесь. Нам больше будет! — сказала она и дробненько захихикала.

Мы чуть не прослезились.

— Знайте же, бабушка... Как вас зовут, простите? — сказал Петров.

— Меня-бишь? Да Елизаветой Прокофьевной звать меня. Вы, касатики, чистые таланты один другого краше. Изумруды истовые. Я в поэзии немножко смыслю.

— Елизавета Прокофьевна, голубушка, — заворковал Петров, — знайте же, что вы сегодня наш единственный слушатель.

— Единственный? Ну так и хорошо. Говорю ж, нам больше будет. Хи-хи-хи-хи!

Всем стало тепло и весело на душе.

— А хотите водочки? — спросил я бабушку Елизавету.

— Водочки-бишь? Ну, это дело хорошее. С такой-то метели.

Мы защебетали ещё гуще, распустились, как подсолнухи в жаркий день, так нам стало хорошо от того, что бабушка с нами водочки выпьет.

— Мы и водочки выпьем, и почитаем с вами стихи, правда, касатики?

«Если не она (а это точно не она) значит, кто-то из них!» — на миг омрачились мои мысли, но я прогнал навязчивую тучу. Не до неё сейчас. Выпьем, почитаем.

Между тем, бабушка достала из ридикюля круглую сплюснутую коробочку, похожую на хоккейную шайбу. Сняла крышечку и вытянула из плоского дна раструб белого телескопического стаканчика. Я и забыл, что такие существуют. Такой когда-то был у меня в детстве.

Налили Елизавете Прокофьевне в её стаканчик, она выпила махом, громко проглатывая водку, как проглатывают её опытные питейцы, крикнула, от предложенной закуски отмахнулась и занюхала своим ридикюльчиком.

— Ну-тка, добры молодцы мои, теперь и почитать всласть можно. Я начну?

— А вы тоже пишете? — удивился я.

— Писала когда-то, но это так, баловство. Я других прочту. Вот Крылатского, например.

Мы одобрительно закивали. Хороший у бабушки вкус. Крылатский — наше всё, дай Бог старику здоровья. Она читала нараспев, восторженно, как девочка. Увлажненные глаза её блестели, дряблые старушечьи веки дрожали от чувств, голос скрипел. Но под бременем старости ещё цвела и восторгалась жизнью прекрасная женская душа. Так великая музыка хороша даже в плохой записи.

— А теперь можно и Гуревича пару-тройку стихотворений, — сказала бабушка, одолев вторую рюмку и так же занюхав ридикюльчиком.

— Можно-то можно, но можно бы уже и нам почитать, вечер-то наш, — возмутился Сидоренко.

— Вы ж мои яхонтовые! То-то я, калоша старая, и забыла, что вечер-то ваш! Ой, беда-беда с головой, ой, беда! — запричитала она.

— Бабуле, наверно, больше не наливать... — шепнул мне прямо в ухо Петров.

— Почитаем и вас, касатики. Вот, например, поэт Сидоренко.

И она прочла:

Коверкотовое пальто,

Шапка норковая и др.

Всё истлеет, всё станет — ничто,

И не моль суть причиной тех дыр.

И не моль всё источит, не моль



Обратит одеяния в прах.

Боль земная, земная соль —

Корень жизни — смертельный страх.

Эти стихи Сидоренко особенно хорошо удались. Надо сказать, это его единственное годное стихотворение. Но высокое качество этого стихотворения оправдывает недостатки остальных стихотворений Сидоренко.

— Так вы наизусть меня знаете? — искренне восхитился он.

— Да мы все тебя как облупленного знаем, — захохотал и захолопал в ладоши Петров, качаясь на стуле.

— Вам, милые, скромнее надоть быть. Стихи хорошие, а всё себя вперёд стихов пропихиваете. Негоже, — сказала Елизавета Прокофьевна. Мы все так и помрачнели. — Ну, не принимайте близко к сердцу, дело молодое.

— Да вы правы, Елизавета Прокофьевна. Я им то же самое говорю, — сказал я.

— Да, самый скромный из нас! — съязвил Сидоренко.

— Ну, будет вам. Давайте перекурим, что ли. А то время-то уже к концу идёт, — сказала бабушка и достала из ридикюльчика вейп. — Я обычную трубку бросила курить, очень уж утомляет организм. А тут — чудо-то заморское какое! И курится легко, и вкусно. Хочешь — банан, хочешь — апельсин.

— Я бы тоже покурил, но разве тут можно? — сказал Петров, похлопывая себя по пиджаку. — Может, выскочим? — Он ткнул меня локтем. — Заодно ещё одну возьмём...

Водка закончилась, и мы стали увядать, как забытые цветы.

— Бабушка, а тут нельзя курить, наверно, — возвысил голос Сидоренко, перегнувшись через стол к раскуривающей вейп бабушке.

Но та выпустила изо рта окладистого серо-сизого голубя.

— Можно, милоч, можно, покури.

— Ну, коли так... — сказал Петров, вынимая из пиджака мятую пачку.

Я тоже закурил свои любимые крепкие папиросы. (Я считаю, что поэт не должен быть неженкой, потому что он напрямую имеет дело с сырьём мироздания, с его испепеляющей магмой. Поэтому поэт должен курить только крепкие сигареты, прикуривая от спички.) Сидоренко затянулся сигариллой через мундштук слоновой кости. Помещение наполнилось курчавыми барашками дыма. В качестве пепельницы мы использовали банку из-под шпротов.

— Ну, а ты, — обратилась Елизавета ко мне, — прочтёшь?

— А отчего б не прочесть, — говорю. Меня здорово повело от сигареты. Но я прочел:

— Забыто? Нет же, не забыто.

Сучат ручонки следопыта,

*Гони скорей, гони скорей!
Стучат последние копыта
Не нами краденных коней.
Стучи, стучи, пока открыто!*

*Найти заснеженную пажить,
Найти укывистый чертог.
А что свободы нам не нажать,
Так ведь душа сама — острог,
И только время будет княжить.
И новый год. И новый бог.*

— И новый бог... — повторила она. — Пьяным, поди, пишешь, милок? Ну что, красавцы, посидели и хватит. Делу время потехе час. И новый бог... — Она встала, распрямилась, как гнутая проволока, и извлекла из ридиклюльчика ксиву. — Полковник Малахова. Вы все трое арестованы. Здание оцеплено, сопротивление бесполезно. Ну, и всё такое прочее. Не говорите, что вы не знали, мои вы соколики. Вы у меня здесь, всё здесь. Каждое слово, каждое. — Она покрутила перед нами своей круглой коробочкой с телескопическим стаканчиком. Записывающее устройство.

— Одно вам скажу. Быть может, обрадую, — говорила она, пока вела нас по сумрачным покосившимся залам Дворца литератора. — Одно скажу: не одна я на ваш вечер пришла. Здание-то оцепили, как только вы пожаловали. Охрана у входа дежурит, все дела. Стало быть, никому не попасть сюда. Только вас троих, как королевичей, дожидаются. А так, пять человек явилось. Скоро и их увидите.

Первым шёл Петров. Из-под его унылого пиджака менеджера по продажам торчала мятая рубашка, выпроставшаяся из брюк, как выглядывают тонкие крылышки из-под жёстких у раненого жука. За Петровым волочился Сидоренко. Этот увалень весь дрожал, как только что вылупившийся цыплёнок. Затем плёлся я. Полковник Малахова замыкала шествие.

— На улице холодно. Куртку можно хотя бы в гардеробе взять? — спросил Сидоренко, сдерживая плач. Его голос звучал как расстроенная гитарная струна, жалобно и криво.

— Согреют, не переживай, — ответила бабушка.

Я смотрел в затылки своих друзей. Я никогда не любил их по-настоящему, потому что они мне завидовали. А завидовать было нечему. Наши разговоры, как только кончалась водка, увядали и морщились сдувшимися воздушными шарами, сходили на нет. Без водки говорить нам было тягостно и скучно. Но это были люди до боли знакомые и родные, и мне было жаль, что так произошло. Мне было жаль себя и их тоже.

Мы идём по длинным, пропахшим крысами и гниющим деревом коридорам, пригибаемся под рухнувшими потолочными балками, переступаем груды ветоши и мебельного лома. И вдруг простая, но невыносимая мысль поражает меня. Весь тот мир, что мы так умело и лукаво описывали, как могли, а где не могли, ужимали, привирали, весь привычный и удобный мир трамвайной искрой исчезает перед нашими глазами. Будто его и не было. Остаётся только язык, которым мы пользовались, уже ни к чему не пригодный, как пустой кокон от насекомого. Теперь наш язык — что те детские фантики, и вне игры ничего на них не выменять.

Мы спускаемся и снова поднимаемся по сглаженным десятилетиями ступеням, проходим сквозь широкие анфилады и узкие коридоры. Я хотел бы поделиться с друзьями своей мыслью, но у меня нет такой возможности. Да им и не до того. Это последняя мысль, что метнулась в моей голове перед бездной неизбежного. И я могу произнести только слово «Ма-ма», а далее язык схлынивает с моего мира, как краска с лица покойника. Всё обесмыслено и чуждо. И это только первая жертва, которую пришлось принести новому богу. Какими мы дойдём до конца — кто его знает.

Тигр

Однажды мне подарили тигрёнка. Сказали: «Обращайся с ним, как с обычным котом. Он привыкнет к тебе и не тронет, когда вырастет». Я так и обращался с ним — как с котом. Он и был, можно сказать, как кот. Такой диковатый, тупой и грубый кот.

На самом деле, я не был ему рад. Я вообще против животных в доме: это и шерсть повсюду, и различная порча имущества, и антисанитария. Словом, заботы, того не стоящие. К тому же, человек я одинокий, до компании неохоч. Да и на работе постоянно занят. Но что делать? Я стал тигрёнка растить.

Сначала была мысль избавиться от него. Однако не всё так просто. На улицу его не выставишь: начнёт людей кушать — кто будет виноват? Отдать в добрые руки? Так поди найди желающих. Мало какие добрые руки хотят быть откушенными. Остаётся зоопарк. Но в нашем крошечном городишке нет своего зоопарка, а везти в другой город нужно было, пока тигрёнок был маленьким. Я же как-то замешкался: всё были дела, то одно, то другое. Я всё откладывал, а тем временем тигрёнок вырос. Теперь это уже взрослый тигр, и совершенно непонятно, каким образом его транспортировать, и через какие хлопоты и бюрократические круги потребуется для этого пройти. Не на поезде же с ним ехать. Так он и остался у меня.

Кормил я его ливерной колбасой, поил молоком. Мне в какой-то степени повезло: человек я небогатый и кормить тигра одним только мясом позволить себе не могу. Ест он много, даже тигрёнком много ел, но так пристрастился к ливерной

колбасе, что к мясу практически равнодушен. Если положить рядом кусок мяса и ливерную колбасу, наиболее вероятно, что тигр выберет второе. Колбасу он ест вдумчиво, с удовольствием, с ностальгией. Детство своё вспоминает. Иногда, по праздникам, я покупаю ему куриц. Сложу в тазик тушек пять-шесть — он хрустит ими, как орешками. Два укуса — и кури нет. Только челюстями клацнет по инерции ещё раз пять да оближется. Но такого удовольствия, как от ливерной колбасы, не испытывает, это чувствуется. В целом, я строго придерживаюсь заповеди, которую дали мне, вручая тигрёнка: «Запомни, — говорили они, — сытый тигр — добрый тигр. Голодный тигр — дикий зверь».

Всё это так. Особой доброты, теплоты общения, каковых можно ожидать от кота, собаки или другого питомца, я не получаю. Но и прямой агрессии, надо заметить, тоже нет. Иногда тигр рычит, а бывает, даже сильно рычит. Возможно, это и есть агрессия. Не знаю. Случается, когда он хмурится и не в настроении, его рык так пугает меня, что я просто прячусь там, где в этот момент нахожусь: в ванной, в туалете, на кухне или в шкафу-купе (а больше в моей квартире и негде спрятаться), — держу дверь что есть сил и молюсь сам не знаю, кому — в бога я не верю. Я просто скороговоркой шёпотом повторяю: «Пусть это скорей закончится! Пусть это скорей закончится! Пусть это скорей закон...» Он и замолчит.

Соседи поначалу жаловались на рык. Думали, я дрелью пользуюсь или установил некий станок. А как узнали, что это тигр, жаловаться перестали.

Конечно, тигр меня стесняет. Квартира, повторюсь, маленькая. Тигр занимает большую часть гостиной (она же спальня, библиотека и кабинет). Если ему вздумается порезвиться, тут уж совсем беда. Сколько он мне всего опрокинул, вывернул, перевернул, оборвал, разбил!.. Раньше я бегал за ним и пытался тут же, на месте починить сломанное, поднять поваленное, собрать рассыпанное... Но теперь у меня иная тактика. Когда он начинает прыгать за солнечными зайчиками, ловить собственный хвост и прочее, я просто выбегаю на улицу, выкуриваю две-три сигареты, а по возвращении домой безропотно борюсь с последствиями. Сейчас, благо, такие инциденты происходят редко. Тигр, самое большее, бродит кругами по комнате. Бывают и минуты идиллии, когда он лежит, жмурится в солнечных лучах и изредка бьёт хвостом по полу, да иной раз чихнет или фыркнет: в квартире много пыли. Тогда я сам даже как-то расслабляюсь. Его мерное дыхание похоже на тарахтение трактора. Это напоминает мне деревню, где я рос.

Тигр любит классическую музыку. Я включаю что-нибудь каждый вечер, отпаривая ноги в тазике после тяжёлого дня. С годами тигр стал склонен к созерцательности, и концерты Баха, симфонии Шостаковича многое ему дают, как и мне. Также он не возражает против хороших коллективов, под которые я губил свою юность: The Beatles, Pink Floyd, U2... Но такое мы включаем нечасто. Это в молодости, когда чувства перекипают через край, мы ищем повсюду в мире единомышленников. А теперь эта музыка для нас только зеркало, в котором мы наблюдаем своё увядание. Зачем?

Могло быть и хуже, могло быть и хуже — так твержу я про себя каждый день, изо дня в день. И трудно не согласиться, что нет такой ситуации, когда эту фразу нельзя было бы произнести. Если бы тигр понимал, думаю, и он бы со мной не поспорил. Могло быть и хуже... Но что греха таить?! Я больше привык, чем смирился. Подо льдом моего спокойствия бурлит горькая лава возмущения. Я не просил об этом тигре, не звал и не ждал его. Но я с ним просто свыкся. Есть, правда, один особенно обидный ритуал, который каждый раз, как в первый раз, вызывает у меня негодование. Тигр так и не понял назначение лотка. А выгулять его, по понятным причинам, я не могу. Поэтому, проработав весь день и вернувшись под вечер домой, я застаю «сюрпризы», или «минное поле», как я это называю. На паркете, на ковре, на диване. Всюду. Мне приходится это убирать, ничего не поделаешь. Хочу заметить, что отходы жизнедеятельности тигра гораздо крупнее, чем отходы тех же котов или собак. Но и с этим я так же свыкся, как и со всем остальным.

Я поинтересовался, почитал литературу, покопался в интернете — и вывод неутешителен: продолжительность жизни тигра такова, что, скорее всего, он меня переживёт. Я уже не молод, болячек полно... Так что, даже если я его и переживу, то на весьма незначительный срок. Однако это маловероятно. Умру первым я. Остаток дней я проведу с тигром. Что ж, я много думал об этом и решил: пусть так. Но пока я жив, я намерен составить завещание, где распоряжусь, где настою, нет, прикажу! чтобы после моей смерти тигр был доставлен в зоопарк! Я никогда ни у кого ничего не просил, не был никому обузой, не пользовался никакими поблажками, а только насильно получил этого тигра. Так вот, пускай, когда меня не станет, все они возьмут на себя хлопоты по перевозке тигра в зоопарк. Я считаю, что это справедливо. Потому что место тигра — в зоопарке. А человек должен быть свободен!

Евгений Бесчастный родился в 1988 году в Севастополе. С 1991 по 2017 г. жил в Бресте, в настоящее время живет в Санкт-Петербурге. Публиковался в журналах «Артикль», «Ното Legens» и «Новая Юность», на интернет-порталах «Textura», «Litradio.by», «ЛитРАЖ» и «Сетевая словесность». Участник фестивалей «Вершы на асфальце» (Минск) и «Петербургские мосты». Автор трех поэтических сборников.